

НЕ НАЧАЛО ЛИ ПЕРЕМЕНЫ?

(Рассказы Н. В. Успенского. Две части. Спб. 1861 г.)

Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее? До сих пор он писал только такие крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших беллетристов. Начать с того, что ни в одной его статейке нет сказочного интереса; да и как в них быть ему, когда из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как будто бы не имеют даже никакого сюжета? Только в четырех можно отыскать что-нибудь похожее на повесть, да и то, какую повесть? — самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. «Старуха» рассказывает, как попали в солдаты два ее сына; об одном, еще так себе, рассказывает она по порядку, а об другом не удалось ей поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка постоялого двора бедной старушонке творожку и молочка, в ожидании которых болтала она с купцом. В другой пьесе стал мещанин рассказывать о своей покойной жене Грушке, досказал дело до женитьбы, да не случилось ему ничего сообщить, как он жил с Грушкою после свадьбы. В третьем рассказе повел речь г. Успенский о том, в какой гнусной бедности жил студент медицинской академии Брусиллов, но не довел речи ни до какой развязки: лежит Брусиллов больной в каком-то «углу» комнаты, за столом в которой извозчики считают деньги, за стеною которой пьяный сапожник бьет свое семейство, и над которой во втором этаже идет пляска, — на том и кончено; что же случилось с Брусилловым? Умер, что ли, он или как-нибудь оправился? — Ничего неизвестно. Есть еще рассказец о чудеке Антошке, но и тут ничего не выжмешь, кроме того, что Антошка был мастер на нелепые проказы. Вот вам и все четыре пьески, в которых есть если не что-нибудь целое, то хоть половина чего-нибудь, что стало бы целым, если бы было dokonчено. А в остальных двадцати пьесах не спраши-

вайте и того: это все только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя. Описывается, например, как извозчики рассчитывались с хозяином постоялого двора; или как проезжий с огромными усами наделал кутерьму на станции; или как шел праздничный обед у приказчика; или как народ ждал благовеста к заутрени на светлый праздник; или как проезжим юношам не удалось пошалить с смазливою бабенкою, которую посадили они на облучок; или как одна дьяконица приезжала в гости к другой, — и ни в одной из этих отрывочных сцен ровно ничего особенного не описывается, и происшествий никаких нет. Если взглянуть на рассказы г. Успенского с другой стороны, посмотреть, не обрисованы ли в них характеры, нет ли психологических анализов, — и того не находите. Что ж, есть беллетристы, не заботящиеся ни о подборе приключений с занимательными завязками и развязками, ни об обрисовке характеров, ни о психологических тонкостях, но зато действующие на вас или яркою, жгучею тенденциею, или превосходным слогом. У г. Успенского не обнаруживается никакой тенденции, да и пишет он так себе, не заботясь как будто бы ни об остроумии, ни об изяществе. Правда, попадаются у него очень смешные фразы, иной раз случится и целая страница очень забавная; немало у него и коротеньких описаний, очень художественных, — но все это как будто написано у него случайно, а вообще рассказ его идет как попало, без всякого уважения к обязанности вознаградить хотя слогом за бесцеремонность относительно содержания. Что же касается до тенденции, об ней лучше и не спрашивайте: взял человек дватри листа бумаги, набросал на них какой-нибудь разговорец или какое-нибудь описаньице и отдает вам лоскутки этих листов без начала и без конца, совершенно не думая о том, выходит ли какой-нибудь смысл из написанного им. Конечно, у г. Успенского есть талант и большой талант: но что же это за талант, который дает нам все только лоскутки? Если уже говорить об таланте, то не следует ли только бранить его за такие незначительные и небрежные произведения?

Незначительные и небрежные, — оно бы казалось, что следует их считать такими, следует по всем возможным основаниям, во всех возможных отношениях; а на деле выходит не то. Публика считает маленькие пьесы г. Успенского заслуживающими внимания. Отчего же это?

Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, — мало ли есть произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас.

Давным-давно критика стала замечать, что в повестях и очерках из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия сильно идеализируются. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов, несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему — говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и помогут ему близкие к нему по чувству. Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно переменить и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы замечаете, что напрасно он делал в известных случаях так, а не иначе, что ошибался он относительно многих предметов, что в характере его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его мыслей есть неосновательность, которую должен он уничтожить более серьезным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему. А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него, — гораздо полезнее всяких похвал.

Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно невнимательны его начальники, не вникающие в его бедственное положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но зато рассудите же, можно ли в самом деле пособить Акакию Акакиевичу. Разу-

меется, можно: назначить ему награду побольше обыкновенной, подарить ему шинеленку, когда старая стала слишком плоха. Это можно сделать. Но ведь это и делалось. Ведь начальник назначил ему награду больше той, на которую рассчитывал сам Акакий Акакиевич, и, без сомнения, гораздо больше той, какую в самом деле он заслужил. А сослуживцы хотели устроить подписку для покупки ему шинели. Правда, подписка не состоялась, но только по случайным обстоятельствам, в которых сослуживцы никак не были виноваты, и, может быть, на другой месяц, когда осталось бы у чиновников несколько лишних денег, действительно собрали бы они рублей пять-шесть на починку старой шинели. По крайней мере, желание у них было, и кое что они, вероятно, сделали бы. Да ведь они уж и сделали кое что: разве они не радовались покупке новой шинели? Они сделали больше: они даже пригласили Акакия Акакиевича на вечеринку. Чего же вам еще? Вы скажете, что все эти доброжелательства и милости не спасли Акакия Акакиевича ни от нищеты, ни от унижений, ни от жалкой смерти? — Разумеется, так, — но кто же в этом виноват? Разве было можно кому-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье; так. Что же, можно было дать ему повышение по службе, сделать, например, помощником столоначальника? Помилуйте, сделать начальник даже хотел было сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно неспособен ни к чему лучшему жалкой должности писца. Он даже сам так думал. Ведь он сам стал просить, чтобы оставили его на прежнем месте. Скажите же, пожалуйста, в ком заключалась причина бедствий и унижений Акакия Акакиевича? В нем самом, только в нем самом. Сослуживцы издевались над ним. Но ведь друг над другом не издевались же они, друг с другом обращались же по-человечески. Ведь в самом деле Акакий Акакиевич был смешной идиот. Начальство давало мало жалованья Акакию Акакиевичу: ему нельзя было давать больше, он не заслуживал того, чтобы ему давали больше, едва ли заслуживал и такого жалованья, какое получал. Значительный человек прикрикнул на Акакия Акакиевича, явившегося просить об отыскании шинели, и прогнал его, но ведь Акакий Акакиевич не сумел ничего объяснить ему путным образом, а все только твердил: «тово... тово... тово...», и потом брякнул вздор, что секретари ненадежный народ, — глупость, совершенно не относящуюся к делу. Скажите же по совести, кто обязан слушать вздор, которого и разобрать нельзя?

Видите ли, теперь, Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с тою целью. Зачем же Гоголь прямо не налегает

на эту часть правды об Акакии Акакиевиче, — на эту невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды, выставленную нами?

Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках.

Такое было отношение прежних наших писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как написал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен. Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича.

Прекрасно и благородно, — в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого — народу? Для нас польза действительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, — нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая сигара. Славное было для нас время!

А теперь не то. Являются какие-то мальчишки, — по примеру «Русского вестника» и «Отечественных записок», называющих мальчишками нас, я позволяю себе назвать мальчишкою г. Успен-

ского, который, кстати, и довольно молод в самом деле, — итак, являются мальчишки, вроде г. Успенского, которые чувствуют, — а может быть, и сознательно думают — кто их разберет, — что наши прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся; они говорят о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную симпатию к нему. Если судить их слова по нашим прежним привычкам, то не видишь в них даже любви к народу, которой мы так гордились, по крайней мере, нет в них никакой снисходительности к нему, и не отыщешь в их рассказах ни одного похвального словечка. Взгляните, например, какие черты выставляет вам в народе г. Успенский.

Вот первый рассказ «Старуха». Один сын ее пошел в солдаты за то, что хотел взять назад свою жену от приказчика, который жил с нею. Какая идеальная история готова рисоваться перед вашею фантазиею, по привычке к прежнему прикрашиванию! Сильная привязанность жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красавицу-жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству и так далее, и так далее. Нет, у г. Успенского ничего такого не говорится. Сама старуха, мать пропавшего из-за жены сына, рассказывает дело таким образом:

Женили мы его; сыграли это свадьбу; глядь поглядь, примечаем: молодая, жена-то его — красивая была, бог с нею, баба — его не долюбивает и так совсем вот не лыстится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гош; оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала.

Вот как обжились они, Петруша — его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... Петр Семеныч, говорит — это приказчик, — велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней. Думаем промежду себя: «зачем это?» У нас о ту пору все были дома: и она и Петруша. Старик говорит: «что ж, сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился: авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «ну, говорит, Варвара Борисевна, пойдем, прогуляемся»: шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один, без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на коннике; обидно ему, стало быть, показалось: да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попада...» и побранил ее. Она не взлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писаный, — она все в писаных ходила, — и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головою — и только. «Жалко, говорит, Петрушу, смерть — жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь, да качь... Смотрим, приходит он один уже перед вечером.

«Ну, Петрушка, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково так со мною обошелся: «я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, так хочешь: у меня ей бу-

дѣт хорошо: я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... что же, говорим, отчего не так? хошь одна баба и была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, глядячи на ее грубости. «Если ты, Петруша, — это говорит старик, — соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны». — «Отчего же, говорит, не согласиться? Я рад, что ей это по ндраву: почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «живи, говорит, Петька, да не тужи», — это она-то ему — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж, ко мне, Варвара Борисевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «разя на деревне баб мало, окромя меня?»

Видите, ровно никакого ни насилия, ни притеснения тут не было: Варвара пошла в работницы к приказчику с согласия мужа и его родных. Правда, через несколько времени стали они требовать, чтобы она вернулась жить с мужем, потому что стали в селе смеяться над Петром, Варвару в глаза ему называли приказчицей. Но мы были бы слишком недогадливы, если бы вздумали, что только из этих слухов и насмешек да из подсмотренной братом мужа сцены между приказчиком и Варварой муж ее и его родные узнали об отношениях Варвары к приказчику. Она была баба красивая, приказчик был человек холостой, она мужа не любила, они давно полагали, что у ней есть любовник, — с первого же слова приказчика должно было стать для них понятно, зачем он хочет поселить ее с собой. А если они еще не догадались об этом деле из слов приказчика, чего нельзя думать, то уж никак нельзя было им оставаться в неведении, когда Варвара, отпуская мужа домой, сказала, чтобы вместо нее нашел он себе другую бабу. Однакоже Петр и его семейство долго не огорчались житьем Варвары у приказчика. Из всего видно, что они захотели разорвать связь Варвары с приказчиком только для прекращения сплетен и насмешек, и, если вы не оскорбитесь нашим цинизмом, мы скажем, что они в этом случае были ни на волос не больше достойны сочувствия, чем Фамусов, беспокоящийся только о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Раз отважившись на беспристрастие к этим людям, хотя они и простолюдины, и бедны, и угнетены, мы попробуем вас спросить: сочувствовали бы вы изображенному в повести чиновнику или помещику, который стал бы принуждать возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и отдана за него без согласия? Вы человек гуманный, признаете свободу сердца, защищаете права женщины; наверное вы порицали бы мужа. Не угодно ли же вам судить мужика Петра точно так же, как судили бы вы какого-нибудь советника Владимира Андреича или уездного предводителя Бориса Петровича. Но не вздумайте говорить, что мужик Петр не читал ни статей об эмансипации, ни романов Жоржа-Занда. Вы видите, что в семействе Петра были достаточно практические понятия об этих вещах, — понятия, до которых не доходила и Жорж-Занд: ведь они не поперечили приказчику, когда

он брал к себе Варвару. Почему не поперечили? Да едва ли не потому, что ожидали от этой полюбовной сделки выгод для себя. Не оскорбитесь циническим предположением нашим относительно их, хотя они и мужики: ведь если бы подобная история рассказывалась вам про светских людей, вас нельзя было бы убедить, что не было тут с их стороны денежного расчета. Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не позволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания.

Да, кто говорил с простолюдинами запросто, тот знает, как много между ними людей грешных с этой стороны, на которую указывают отношения Петра и его родных к связи приказчика с Варварой. Никак не меньше (мы думаем, что и не больше) между мужиками людей, грешащих такими расчетами, чем в нашем кругу. Живет муж с женою плохо; подвертывается человек сравнительно с ним сильный и богатый, и муж очень спокойно уступает ему свою жену и притворяется, будто бы ничего не знает, пока слишком громкий всеобщий говор не заставит его принять вид оскорбленного и обманутого. Бывает и хуже: иной открыто отвечает насмешникам, что он доволен своим положением. Но такие бесстыжие глаза довольно редки в образованном обществе; редки и между простолюдинами. Зато нередки в образованном обществе — разумеется, нередки и между мужиками — примеры противного: никакими выгодами не обольстится человек на потворство. Мы вовсе не отрицаем подобных случаев в мужицком быту; мы только говорим, что и там, как в нашем кругу, чаще бывает корыстное потворство, в котором принуждены мы были изобличить Петра и его родных.

Да и с чего же вы взяли, в самом деле, что этого нет между мужиками? Или мужики обязаны быть рыцарями благородства и героями честности? Помилуйте, не такие ли же они люди, как и мы с вами? Вы знаете, что в нашем кругу нельзя не быть преобладанию пошлых, корыстолюбивых снисхождений и уступок над исключительными случаями твердого отказа. Вы знаете обстоятельства и отношения, из которых произошла у нас расчетливая безразличность. Семейные дела запутаны, а если и довольно денег, то хочется иметь их побольше, чтобы пожить пошире; жена капризничает; муж имеет кой-какие связишки на стороне; что же тут удивительного, если человек с деньгами или с влиянием купит жену у мужа? Что же, в мужицком быту нет точно таких же обстоятельств? Мужики бедны; с женами часто живут они очень дурно; покровительство сильных людей им нужно. Что должно выходить из этого, — рассудите сами.

Только, пожалуйста, отстаньте, кроме пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиков, еще от одного очень тупоумного приема: подводить всех мужиков под один тип, вроде

того, как сливаются в наших глазах в одну фигуру все китайцы. Китайцы от нас очень далеко; поэтому простиительно нам судить о них обо всех оптом: китаец, дескать, привязан к старине, любит опиум, носит длинную косу и так далее, и разницы, дескать, нет между китайцами. Ни нам, ни им, по отдаленности между нами, нет никакого убытка от этого гуртового способа суждений. Но мужики к нам близки: нам стыдно не замечать разницу между ними, мы имеем с ними дела, потому и нам, и им очень вредно, если мы будем думать и поступать по таким безразличным, гуртовым суждениям о них. Наше общество составляют люди очень различных образов мыслей и чувств. В нем есть люди пошлого взгляда и благородного взгляда, [есть консерваторы и прогрессисты,] есть люди безличные и люди самостоятельные. Все эти разницы находятся и в каждом селе, и в каждой деревне. Мы, по указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания, которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными, безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем простонародье, не судите по ним о том, к чему способен наш народ, чего он хочет и чего достоин. Инициатива народной деятельности не в них, они, как подобные люди наших сословий, только плывут, куда дует ветер, и поплывут во всякую сторону, в какую подует ветер. Но их изучение все-таки важно, потому что они составляют массу простонародья, как и массу наших сословий. Инициатива не от них; но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива.

А впрочем, если вы тверды в гуманном принципе, повелевающим считать человеком каждого человека, какого бы там звания ни был он, если вы способны думать о мужике не как о странном по виду и по разговору существе, с которым нет у вас ничего сходного, а просто как о человеке, у которого тоже два глаза, как и у вас, тоже по пяти пальцев на руках, если... но нет, судя по всему, что я читаю в книгах, писанных для вас, судя по всему, что я слышал от вас, — от вас ли, читатель, лично или от ваших друзей, или от людей, похожих на вас и на ваших друзей, — судя по всему этому, я полагаю, что вы рассуждаете подобно дворовой девушке Алене Герасимовне и конторщику Семену Петровичу, которые на «Гулянье» у г. Успенского ведут между собою такую беседу:

— Ну, а что у человека внутри есть, Семен Петрович?

— Внутри-с бывает различно. Это смотря по тому, кто чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него внутри мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.

— Страсти какие!.. Объясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у военных внутри одинаково?

— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.

Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение.

Извините, если вы приняли за обиду, что я усомнился в различии ваших мыслей от мнений Алены Герасимовны и Семена Петровича. Такая компания для вас унижительна. Возвращусь же к предположению, от которого готов был отказаться: положим, вы знаете, что «внутри у человека одинаково» и у штатского, и у военного, и у сапожника, и у продовольствующегося мякиной. Так если, говорю я, знаете вы это, вам не нужно много хлопотать об изучении народа, чтобы знать, чего ему нужно и чем можно на него действовать. Предположите, что ему нужно то же самое, что и вам, и вы не ошибетесь. Предположите, что на дюжинных людей в народе действуют те же расчеты и побуждения, какие действуют на дюжинных людей вашего круга, и это будет правда.

Только умейте подводить частные виды одного и того же чувства под общую их сущность, умейте, например, понимать, что стремление получить деньги — одно и то же стремление, будут ли деньги представляться в виде пачки кредитных билетов или в виде двугривенного; умейте понимать, что привычка считать крупной такую сумму денег, которая иному кажется мелка, нисколько не изменяет сущности действий, внушаемых надеждою получить деньги, и опять-таки, умейте понимать, что выслушивать колкости или скучать в неприятном обществе или подставлять шею под материальные толчки кулаком — и улыбаться в надежде получения или в благодарности за получение денег — все это в сущности одно и то же. Если вы твердо знаете это, вас нисколько не обескуражит сцена, которою заканчивается очерк г. Успенского «Проезжий». На станции является господин, не жалеющий своих рук на поучение станционного смотрителя, старосты и ямщиков; требуя поскорее лошадей, он разбивает множество носов, подбивает множество глаз и так далее и, совершив эти подвиги, садится пить водку. Вот лошади готовы. Посмотрите же, чем кончается вся штука.

На крыльце стоит проезжий с полштофом в руках. За ним смотритель, старуха, денщик и мещанин. Из полуотворенного окна высматривает купец. Вокруг крыльца стоят ямщики, в том самом виде, в котором они были в предыдущей сцене, то есть с подвязанными глазами и проч.

Проезжий. Что же, все собрались?

Ямщики (дружно). Все, ваше высококорodie...

Проезжий (наливая водку). Ну-ко... Подходите... (Народ пьет и откланивается, утираясь полами. На дворе время от времени позвякивает колокольчик.) А что, тройка хорошая?

Ямщики. Важная, чудесная, ваше высококорodie...

Проезжий (отдавая полштоф денщику). Ну что же, вы на меня не сердитесь?

Ямщики. За что же, ваше высококорodie!.. Много довольны.

Проезжий. А кто у вас тут запевало? (Ямщики вытаскивают из своей толпы молодого парня с отдутой щекой.)

Проезжий. Ты?

Парень (скромно). Я-с.

Проезжий. Вот вам на всех... (Дает из кошелька монету; ямщики кланяются и говорят благодарность.) Ну, спойте же песню!.. да хорошенько... (Парень, придерживая щеку, как это делают вообще запевалы, начинает; все подхватывают. — Песня раздается.)

Ночь осенняя,
Молодка моя,
Молоденькая и т. д.

Съезжает со двора тройка. Колокольчик разливается, отчего ямщики приходят в большой экстаз.

«Какое безнадежное падение народного духа и народной чести!» воскликнет человек, не умеющий приравнять своеобразные формы проявлений общего свойства в разных сферах жизни: «эти люди сейчас были безвинно перебиты человеком, не имевшим никакого права не только бить их, но и взыскивать с них; и что же? этот человек поит их водкой, дает им несколько денег на водку, и они забывают обиду, остаются довольны, даже благодарны. Такой народ совершенно утратил всякое чувство своих прав, всякое сознание человеческого достоинства; он ни к чему не способен, кроме как быть битым от всякого встречного и поперечного». Спора нет, черта, выставляемая г. Успенским, очень печальна; но выводить из нее слишком отчаянные заключения значит страдать идеализацией. Разберем дело повнимательнее. Во-первых, неужели вы думаете, что побитые ямщики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления? Что они не выражают этого чувства, даже поступают наперекор ему, ровно ничего еще не свидетельствует против силы чувства и против возможности и готовности поступить сообразно ему при первом удобном случае. Человек очень горячо выражает свое чувство только пока еще не свикся с ним; но через несколько времени он перестает жаловаться и суетиться, если жалобы и суеты ни к чему не ведут; он получает хладнокровный вид и даже начинает поступать, как будто бы не имеет чувства, — но ведь это вовсе еще не значит, что оно исчезло в нем. Посмотрите, например, на больных: у кого случился флюс в первый раз, тот бог знает как кричит и мечется; а когда флюс случится с ним в двадцатый раз, он уже не заговаривает сам о своей болезни, даже неохотно отвечает на ваши вопросы о ней, может уже и шутить, и хохотать, — неужели из этого вы заключите, что он не чувствует боли и не имеет желания избавиться от нее? Полноте, такая мысль нелепа. Возьмите другой пример: к вам приехал приятель, с которым не виделись вы несколько лет. Вы с ним обнимаетесь, вы суетитесь, вы поднимаете бог знает какую суматоху в доме, — что ж, это естественно при первом свидании; но, заметьте, только при первом. На другой день вы беседуете с вашим приятелем уже очень смирно; значит ли это, что вы потеряли привязанность к нему? Так и во всем:

в первые разы, пока дело остается экстренным, чувство, порождаемое делом, обнаруживается экстренными проявлениями; а когда дело вошло в обычный ход жизни, чувство перестает нарушать обычный ход жизни в ее внешних житейских проявлениях; но еще вопрос, не усилилось ли оно от проникновения в самый корень вашей жизни, а ослабеть уже ни в каком случае не ослабеет оно, хотя и стало молчаливее. Ямщик с раздутой щекой подлежит действию совершенно одинакового психологического закона, от чего бы ни вздулась у него щека, — от флюса ли или от кулака: он был бы нелепым психологическим уродом, если бы обычные проявления его внешней жизни нарушились от факта, принадлежащего к обычному ходу ее. Но совершенно другое дело спросить: доволен ли он разными принадлежностями этого обычного хода жизни? Могут сказать: «однакоже, если отношения, производящие искусственное подобие флюса, не нравятся этим людям, зачем не предпринимают они ничего для изменения обстоятельств?» Пусть читатель вспомнит, о каком разряде людей рассказывает нам г. Успенский и рассуждаем мы по его замечкам. Это — люди дюжинные, люди бесцветные, лишненные инициативы; во всех сословиях они одинаково живут день за день, не умея сами взяться ни за что новое и ожидая внешних поводов и возбуждений для того, чтобы действовать в каком бы то ни было смысле. Г-ну Успенскому случилось выставить нам, как пример народных обстоятельств относительно искусственного флюса, дюжинных людей из сословия ямщиков. Посмотрите же, как поступают ямщики и в других делах, в которых, несомненно, нашли бы они выгоду изменить прежний порядок и с охотою изменили бы его. У нас был обычай запрягать лошадей тройкою. Не знаем, как в других местах, а по трактам от Москвы на юго-восток ямщики очень долго сохраняли, в некоторых местностях, быть может, сохраняют и теперь, стремление запрягать вам тройку, хотя бы вы платили прогоны только на пару. «Да зачем же это запрягать лишнюю лошадь, за которую я не плачу?» — спрашиваете, бывало, вы. «Оно, батюшка, так лучше будет». — «Да чем же лучше?» — «Оно лошадам полегче будет». — «Да ведь я один, у меня поклажи не больше пуда, ведь перекладная телега легка». — «Оно так, батюшка, точно, что и на паре легко, а все лучше припрягу третью». Неужели вы думаете, что этот ямщик не жалеет лошадей или расположен оказывать вам большую услугу, чем обязан? Нисколько; он везет вас из рук вон плохо, гораздо тише, чем следует по положению; он жалеет лошадей. Зачем же он гоняет лишнюю лошадь совершенно даром? Просто потому, что так заведено, а дюжинные люди делают только то, что заведено, а масса людей во всяком звании — дюжинные люди. [Нужно было внешнее влияние на них, чтобы они отстали от обычая запрягать тройку вместо пары, хотя каждый из них видел, что обычай этот невыгоден для него.] Точно то же и относительно

обращения ямщиков с проезжим, подвиги которого изобразил г. Успенский. Разбив и разогнав ямщиков, проезжий садится закусывать и старуха несет ему ветчину.

Старуха (с ветчиной). Кабы он меня... Сохрани, господи!

Ямщик (отвернувшись в сторону). Ты с ним не разговаривай... Может, ничего.

Новый проезжий. Аль кто тут дерется?

Ямщик. Нет, мы так... про себя. (Проезжий идет в комнату.)

Прежний купец (высовывается из кухни с расстрепанными волосами). Бабушка! как понесешь туда закуску, захвати мой узелок... Сделай милость.

Старуха (вздыхает). Уж и не знаю!.. (Робко идет в комнату. Со двора у двери выглядывает толпа ямщиков с отдувшимися щеками, подвзанными глазами и проч.)

Толпа. Где он?

Ямщик (в сенях, держась за нос). Уйдите от греха! Бесстрашные!.

Толпа. Мы тогда как раз по конюшням!..

Ямщик. Где ж зритель?

Толпа. В колоде лежит... (Народ начинает между собою разговаривать; причем кто размахивается, что-то представляя, кто просит товарища посмотреть глаз, поднимая платок, и т. д. На дворе легонько гремят бубенчики. Вскоре раздается крик. Из комнаты выбегает старуха с посудой, проезжий с мешком и мещанин, держась за щеку; раздаются голоса: «Православные! Ваше высокородие!» Толпа бросается вон из сеней, и видно, как в беспорядке бежит по двору: при этом слышится голос: «Прячьтесь!»)

Проезжий (высовывая голову из-за двери и ворочая белками). Подайте мне их сюда!.. (Народ шумит в отдалении. Поддужный колокольчик звякает, и все затихает.)

Почему ямщики разбежались и не придержали бойкого проезжего за руки, на что имели полное право? Просто потому, что так заведено разбежаться и прятаться. Но вот они вновь собираются, подступают к дверям комнаты, в которой сидит их обидчик. Вы думаете, они хотят посчитаться с ним, связать его, представить в суд, вы думаете, они сошлись для восстановления своих незаконно нарушенных прав, для отмщения обид, — нет, это не заведено; они сошлись только по заведенному порядку, что надобно же поглазеть на всякую штуку, надобно, значит, поглазеть и на проезжего, который в первый раз путешествует по их тракту; они с тем собираются, чтобы вновь разбежаться по конюшням при первом его движении, и действительно разбегаются; не скажите, что делают они это под влиянием какого-нибудь чувства, собственно относящегося к этому случаю, не подумайте, например, что главная пружина тут страх или трусость собственно перед этим проезжим, — нет, главная сила тут — обычай, машинальная привычка, «так заведено». Тут действием ямщиков руководит та самая машинальность, по которой ямщик рассуждает с лошадьми, или всегда предпочитает объезд столбовой дороге, хотя бы по объезду дорога была и длиннее, и хуже, или почесывает у себя в затылке, хотя бы вовсе не чесалось, или ездит по весеннему льду до последней минуты, пока лед тронется. — Во всех этих

случаях одинаково управляет отдельным человеком не расчет выгоды или невыгоды, надобности или ненадобности, опасности или безопасности совершаемого им действия в данных обстоятельствах, а машинальная привычка, нечто вроде той силы, которая направляет шаги лунатика. «Так заведено», вот и все.

Кто не привык смотреть на человека во всяком звании просто как на человека, кто разделяет мнение Семена Петровича, что «внутри у человека бывает различно», смотря по его званию, тот опять, пожалуй, скажет, что этою чертою действовать по заведенному порядку народ отличается от нас, образованных людей. Нет, нисколько. И в наших сословиях все дюжинные люди, то есть громаднейшее большинство, поступает точно так же. Например: кто из обычных посетителей какого-нибудь клуба или кружка не жалуется постоянно, что ему там очень скучно, и, однакоже, продолжает постоянно ездить туда; почему же? «Так заведено». Спросите у каждого из нас, дюжинных людей, приносят ли ему хотя малейшее удовольствие те предметы, на которые идет большая часть его денег, приобретаемых обыкновенно или тяжелыми трудами, или неприятными унижениями; нет, удовольствия от этих расходов не получается никакого, они делаются только потому, что так заведено. Впрочем, что же мы начали подробно развивать этот взгляд как будто содержащий в себе что-нибудь новое, требующее доказательств? Ведь все фельетоны и все разговоры наши наполнены рассуждениями о безусловном господстве так называемого «приличия» или «требований приличия» в образованном обществе над всеми действительными чувствами, реальными потребностями, здравыми расчетами и всякими другими соображениями и побуждениями каждого из нас, составляющих массу образованного общества. «Приличие» или «требование приличия» — ведь это только частное выражение общего принципа «так заведено». Если вы заметили это, читатель, нам шутя понадобится доказывать уже не то, что господство принципа «так заведено» сильнее в простонародье, чем в образованном обществе, — надобно будет доказывать то, что в образованном обществе этот принцип господствует не гораздо сильнее, чем в народе. А по нашему взгляду, что человек всякого звания ни больше, ни меньше, как человек, мы думаем, что во всех званиях принцип этот одинаково господствует над дюжинными людьми, то есть огромным большинством людей.

«Так заведено» — это еще не объяснение. Почему же «так заведено?» Войти в подобное объяснение, значит втягиваться в длинную историю. Вероятно, были когда-нибудь достаточные причины устанавливаться такой или другой привычке; вероятно, продолжают эти причины действовать, если она еще не изменилась. Если, например, — но мы говорим это только к примеру, а не для выражения каких-нибудь действительных отношений, — если, например, один человек обижает другого, и другой этот не

жалуется на обидчика, то надобно полагать, что он уверен в бесполезности жалобы или даже опасается от нее новых обид и неприятностей себе. Точно так же, если один человек обижает других, которые сами по себе сильнее его и собственно от него могли бы защищаться, а между тем не защищаются, то надобно полагать, что в случае обороны они возбудили бы против себя другую силу [более могущественную,] что они знают об этом, и что собственно только это знание удерживает их от обороны.

[Мы предположили случаи, встречающиеся во всякие времена везде. Но если мы предположим, что в какой-нибудь стране эти случаи долго составляли сущность всех отношений, то натурально было завестись в этой стране обычаю не защищать своих прав ни собственными средствами, ни законными жалобами. Положительно можно сказать, что каков бы ни был характер чувств или мыслей народа в этой стране, обычною чертою жизни установилась бы в этой стране безответность против обид.]

Если же установился такой обычай, то неудивительно, что обиженный без зазрения совести принимает милости от обидчика с признательностью и, например, готов выражать благодарности и петь песни в удовольствие человеку, только что побившему его, когда обидчик попотчует его водкой. Ведь мы предположили, что нельзя найти правильного удовлетворения за обиду, а попытка отомстить без соблюдения формальностей повела бы только к новым, более тяжелым обидам и бедам. Следовательно, тут человек получает удары как будто бы от роковой силы, от случайных улыбок которой нельзя и отказываться, если нельзя выйти из-под ее влияния. Кто на свете может от чего бы то ни было терпеть больше обид, чем мы, жители Петербурга, получаем от своего климата? Беспреданно бьет нас он дождем и снегом, спит туманом, и нельзя перечесть всех наглых проделок, какие он сочиняет над нами. А все-таки чуть покажет нам он хоть лоскуток чистого неба, бросит нам хоть несколько лучей ясного солнышка, мы с радостным восторгом принимаем от нашего обидчика эти милости и спешим ими пользоваться. Опять я спрашиваю вас: значит ли это, что мы довольны петербургским климатом, что мы в душе примирились или можем когда-нибудь примириться с ним? Значит ли это, что каждый из нас не ждет первой возможности выйти из-под власти этого нашего врага, уехать куда-нибудь на юг или на запад? Мы пустились в метафоры: в собственном смысле слова обид не наносит нам климат, — он только подвергает нас неприятностям, болезненным ощущениям. Вот точно так же только в метафорическом смысле называет обыкновенный язык обидами те удары, которые получили ямщики от проезжего. Удары эти даются не индивидуальною силою проезжего, а неразумною силою вещей; его руки, бьющие по зубам ямщиков, все равно, что ветви дерева, которые также очень больно хлещут вас и по лицу, и по всему,

по чему попало, когда вы проезжаете мимо дерева. Обижаетесь ли вы этими ударами? Нет, они только производят боль. Унижения вам тут нет.

Впрочем, как же не быть унижению? Нет, оно есть: вы унижены тем, что не [успели справиться с этим деревом, обломать его ветвей], сующихся куда им не следует; вы несообразительны и бессильны; от этого, кроме физической боли, есть в вас и досада. Однакож все это — тонкости, которыми не стоит заниматься: простая ли тут боль или вместе с болью есть и унижение. Об этом не стоит рассуждать. Важность только в том, что вы не делаете ничего особенно дурного, когда пользуетесь при случае тенью того же самого дерева, которое хлестнуло вас по лицу; важность еще в том, что если вы как-нибудь воспользовались его тенью, из этого не следует еще заключить, что вам не был неприятен удар его ветви и не чувствуете вы надобности [сломать ее], чтобы не повторяла она над вами такой же проделки.

Мы нашли ближайшую причину той невозможности защитить свои права, которая заставляет дюжинных людей в народе безответно переносить страдания и неприятности, не обнаруживая даже злобы на обидчиков. Но ведь если всмотреться поближе в эту частную и ближайшую причину, она сама требует объяснения. [Понятно, что безответно подчинялся тяжелому и оскорбительному чеченскому порядку обращения русский пленник, уведенный в Гергебиль или Гуниб мюридами Шамиля¹. Он там был один против сотни, против тысячи людей. А здесь наоборот: обидчик один, обижаемых десятки. От всяких несправедливостей и наглостей страдает масса, а полезны или приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными?] Понять это поможет нам рассказ г. Успенского «Обоз». В этом маленьком очерке нет ровно никаких особенных происшествий: среди сильной метели кое-как дотащился обоз до постоянного двора; мужики поотогрелись, и один из них позабавил товарищей на сон грядущий анекдотом о том, какие здоровенные лошади были у какого-то неизвестного извозчика; под этот рассказ усталые мужики крепко уснули. Дальше тоже не случилось ничего особенного; но если мы будем сокращать рассказ о том, что было дальше, впечатление факта ослабится и вы не поймете всего смысла его. Предлагаем же вам прочесть внимательно весь следующий довольно длинный отрывок, не перебегая глазами ни через одну строку, хотя на всех строках все одно и то же.

В избе было как во тьме крошечной, все наповал храпело: у иного в горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке ночи, поджавшись к спящему, умертвил его.

Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков сонным голосом крикнул:

— Эй, вставай, рассчитывать пора!

В избе зажгли ночник.

— Что, как погода-то, ребята?

— Не говори, брат!.. такая-то бушует!

— Ах ты, господи! Что делать?

— Как мне быть с своею лошадью-то? Вряд доедет...

Извозчики разбудили хозяина и мало-помалу начали собираться вокруг стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошель, висевшие на шее; иные еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял у двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье счетов и хозяйский голос смущали его.

Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нарты, говоря там: чтоб вам померзнуть в дороге; ах, вы, горлодеры!

— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

— Тридцать копеек.

— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это... ей-богу...

— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил хозяин.

— Про извозчика-то? — заговорило несколько голосов.

— Да.

— Это вот Иван.

Мужики все несколько ободрились, глядя на усмежавшегося хозяина, и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от расчета. Хозяин это сделал для того, чтобы мужики не слишком забивали свою голову утомительными вычислениями, а поскорей рассчитывались.

— Важно, брат, рассказываешь, — сказал хозяин. — С тебя приходится, Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик курский... из Курска проезжал, так уморит, бывало, со смеху... Две за хлеб да сорок... сорок две...

— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?

— Ну только, — продолжал хозяин, — с чего-то давно перестал ездить... уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и следить за расчетом, хотя дворник завел речь о курском рассказчике. Вследствие этого мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления.

— Егор! погляди: это двугривенный али нет?

— Ну-ко... не разберу, парень...

— Подай-ко сюда!

— Смотри, малый!

— Это — фальшивый... у меня их много было...

— Хозяин, ты что за овес кладешь?

— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин: — ты о чем хлопочешь?

Ведь ты с Кондрашкой из одного села?

— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.

— Вы так считайте: положим, щи да квас — сколько составляют? восемь серебра. Эх, писаря! Зачем секут-то вас?

— Известно, секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щи да квас...

— А там овес пойдет...

— Овес после... ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть...

— Вы, ребята, ровней кошели-то держите... счет ловчей пойдет...

— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся; с одного конца счел, с другого забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая одной рукой деньги, другой — счеты, вышел вон из избы, оставив всех мужиков с кошельками на шеях за столом.

— По сколько же он клал за овес?

— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя то напорет, что заставишь здесь...

— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй чихверями... Пиши...

Мужики окружили пишущего.

— Это ты что поставил?

— Чихверю...

— Ну? это палка что? щи?

— Нет, квас...

— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится...

— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил!

— Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?

— Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен.

На прошлой станции кто платил? Небойсь, я!

— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?

— По гривне.

— Ну, ладно, ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к печи...

— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?

— Нет.

— Ну, третеводни?

— Нет.

— Ты бога-то, я вижу, забыл...

— Я, брат, бога помню чудесно...

— Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем!

Нарисуй-ко сперва овес...

— Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...

— Для чего жеребий?

— Разведать: может, кто из нас плурует...

— Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая!

— Андрей! сочти мне, пожалуйста.

— Давай. Ты что брал?

— Сено, да ел вчера убоину...

— Ну? а кашу?

— Нет... не ел... что ж...

— А у тебя всех денег-то сколько?..

— С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?..

Куда я девал грош-то?

— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?

— Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она!

— Ну, коли так, дешево положить нельзя.

— Что за оказия! куда ж это грош девался?

— Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя, и разговоры, пустим все на власть божью!

— Да нынче так пустил, завтра пустил — эдак до Москвы десять раз умрешь с голоду! По крайности — башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!

— Ну, ребята, бросай все!

— Бросай!.. провалиться ей пропадом.

— Как провалиться!.. Эко ты!

— Нет, надо считать!.. Как можно!

— Известно, считать... Ай мы богачи какие?

— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?

— Пять да восемь... восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди острьгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...

Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и придерживая кошелки: кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол, высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «первой, другой...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я — четвертак... этак свободнее соображать.

Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою, другой будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая голоса всех мужиков.

Наконец мужики бросили все расчеты и счета и, перекрестившись, съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни с кем.

На улице было темно; метель была пуще, чем вечером: ветер так и силится снять с мужиков армяки. Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.

— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...

— А ты что ужинал?

— Да хлеб, квас и щи.

— Нет, ты вот что возьми, — перебил первый мужик, и начался продолжительный спор с разными головоломными соображениями.

Бьюга выла немилосердно, от сильного мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяков.

Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечено и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выставлением других подробностей народной жизни. А г. Успенский заботливо всмотрелся в эту главную черту и дал нам вдоволь полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем другим более разнообразным или живым. Скажите же, не навело на вас тоску то же самое бесконечное толкование наших простолюдинов, напрасно бьющихся над соображением самым простым? Вот сколько часов бьются люди, чтобы сосчитать сумму в какие-нибудь сорок копеек, — сумму, составляющуюся из сложения всего каких-нибудь трех-четырех статей. Господи, как ломают они голову, каких штук не придумывают, чтобы одолеть эту трудность! и просто считают, и мелом рисуют, и на счетах выкладывают, и какими-то чихверями валяют, и все-таки так-таки и отдали деньги и уехали с постоялого двора, не считав, сколько они должны заплатить и правильно ли требует с них хозяин. Целые пять верст уже проехали они в темноте по

сугробам, и наверное целых два часа ехали, и все в размышлениях о неконченном расчете, — тут только, наконец, показалось одному, будто он сообразил свой расчет, но и это чуть ли не было ошибкой: по крайней мере, найденное им решение задачи вышло новые нескончаемые толки.

Правда ли это? Так ли оно действительно бывает? Скажите же после этого, где же прославляемая сметливость русского простолюдина? Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа без всякого смягчения. Да понимал ли он, что делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу². Ведь г. Успенский выставил нам русского простолюдина простофилю. Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Холодно, родименький, холодно!
Холодно, странничек, холодно,

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!

Я в четверту: мужик! что в кабаке ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду.
С голоду, родименький, с голоду!³

Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? — «Жену я бью, потому что рассержен холодом». — Да разве жена в этом виновата? — «Я в кабаке иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилю. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп.

Но только вы не забудьте, что мы видим в русском мужике

не особенное существо, у которого «внутри нет ничего одинакового» с другими людьми, а видим в нем просто человека, и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображаемых у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия, — быть может, и мы с вами, читатель, не составляем исключения. Исключений мало. [Правда, в них-то и вся важность, от них-то только и пошло все немногое хорошее, что есть в нашей жизни, и от них только будет улучшаться она.] Теперь, вслед за г. Успенским, мы ведем речь не об этих исключениях, а о людях дюжинных, об огромном большинстве людей.

Русскому мужику трудно связать в голове дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум слишком неповоротлив, рутинна засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию [тем, что их тупою силою были задуманы все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции]. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу. [Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские поселяне составляют незыблемую опору торийской партии.] Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы, «Эдда» и наши богатырские песни. Посмотрите на другие сословия. В какой кружок людей ни взойдите, вы не растолкуете большинству их ничего превышающего круг их рутинных понятий; вы в бог знает сколько времени не научите их сочетать правильным порядком хотя эти привычные им понятия. После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно одно из двух: или действительно bestолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он bestолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного.

Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, хорошо ли идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет дурно и чем можно поправить ее; скоро ли и легко ли растолкуешь им это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь где-нибудь дельное толкование, если еще не понимаешь. Вот

только об этом мы говорим; только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны, просто сказать, тупоумны. А в рутинных делах — помилюйте, — почти все они очень понятливы, чуть не гениальны; быть может, не всегда рассудительны в поступках, — что ж делать, человеческая слабость, — но в мыслях чрезвычайно бойки. Интрижку ли устроить, отговорку ли какую придумать, намолоть ли три короба чепухи по какому-нибудь расчету, — на это мастер почти каждый, кто хоть сколько-нибудь пообтерся в жизни. Но ведь в этих делах и всякий мужик, в том числе и наш русский мужик, никому не уступит сообразительностью, изворотливостью, живостью и быстротой мысли. Торгуется он, например, так, что иной сиделец может ему позавидовать, — обмануть вас, он так искусно обманет, что после только подивитесь, и вы не заблуждайтесь, не сочтите за доказательство противного ту нелепую, тупоумную бессчетность, какую обнаружили ямщики г. Успенского в расчете с хозяином постоялого двора. Это случай, в котором рутина показывает напрасность всяких усилий проверить счет хозяина. Считаю, не считай, все-таки надобно отдать, сколько он требует. Вы сами бываете точно в таком же глупом положении при всяком выезде из гостиницы. Бог знает чего не напишут вам в счет, каких диких прибавок не набьют туда и каких несообразных цен не выставят. Считайте вы или не считайте, уличайте плутни или не уличайте, спорьте против них или не спорьте, все равно вы заплатите сполна по счету, фальшивость которого очевидна. После этого какая же, собственно, польза считать и проверять? Но вы все-таки делаете это — просто по рутине, говорящей людям вашего сословия, что они должны выражать неудовольствие на содержателей гостиниц, бранить их при расплате, даже делать им не совсем приличные для вас самих сцены. Умна ли эта рутина сердиться, горячиться и не предпринимать ничего для устранения плутовства? У мужиков другая рутина: у них прямо сидит в голове мысль, что хозяина постоялого двора не переспоришь, и что поэтому проверять его счет или считать самому — дело напрасное; вот только поэтому так и тупоумны мужики в расчете; они сами чувствуют, что занимаются пустяками; рутина сложилась у них в такую форму: толку в этих счетах нет и не добьешься до него. Вы видите, что они точно так и делают: начнут считать и тотчас же бросят; опять начнут и опять бросят.

Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, и в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа. Мы говорили, например, что французские поселяне могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими поселянами. Разумеется, после таких оживленных действий масса народа снова впадает в прежнюю пошлую апатию, как впадает в нее и всякий дюжинный человек после каждого чрезвычайного усилия. Но совершившийся факт все-таки производит перемену в отношениях. Например, увлекся пошлый человек, повенчался на девушке без приданого, хотя постоянно думает только о денежных выгодах; через несколько дней вспышка прошла и опять он стал попрежнему пошл, — а дело сделано, и он видит себя женатым и вернуться к прошлой жизни уже никак ему нельзя. Заметьте, мы не говорим о том, лучше или хуже стало жить ему или кому-нибудь другому от перемены, — это как случится, — мы говорим только, что жизнь его изменилась. Точно так же и одушевление массы не всегда приводит к лучшему, — это как случится: иной раз бывает удачен, иной раз — нет. Например, одушевление, которым увлеклись было немецкие поселяне в начале XVI столетия, когда вслед за Лютером явился Фома Мюнцер, не привело их ни к чему хорошему: говорят даже, будто их положение стало хуже прежнего, чему мы, впрочем, не верим, потому что хуже прежнего едва ли могло что-нибудь быть. Но бывали случаи, о которых даже и мы не сомневаемся, что они привели к худшему. Таков, например, был результат чешского движения, которым началась междоусобная война, называемая тридцатилетней⁴. Чехам стало гораздо хуже, чем было прежде. Разумеется, этот шанс возможен только тогда, когда прежнее положение не безусловно дурно. О случаях удачи мы не говорим, во-первых, потому, что их во всеобщей истории довольно мало, а во-вторых, потому, что они и без нас памятливы каждому.

Странная вещь история. Когда совершится какой-нибудь эпизод ее, видно бывает каждому, что иначе и не мог он развиваться, как тою развязкою, какую имел. Так очевидно и просто представляется отношение, в котором находились противоположные силы в начале этого эпизода, что нельзя было, кажется, не предвидеть с самого начала, к чему приведет их столкновение, а пока дело только приближается, ничего не умеешь сказать

наверное. Угадайте, например, каков будет успех приближающегося столкновения между австрийскими и венгерскими силами; угадайте, на чьей стороне тут будут кроаты, — думаешь так, думаешь этак: и то, и другое может случиться. Наверное можешь предсказывать только то, что мирным порядком не развяжется австрийско-венгерское дело ⁵. Да и в этом опять сколько есть неизвестного: когда начнется эта передышка, по какому поводу, — кто знает? Может быть, нынешнее положение протянется еще долго, — ведь тянулось же оно до сих пор, хотя почти все были уверены, что прошлой весны оно не переживет. А может быть, и не протянется оно так долго, как кажется вероятным. Ведь нельзя же было, например, в марте прошлого года ожидать, что в сентябре Сицилия или Неаполь будут уже в положении совершенно новом ⁶.

Мы обратились ко всеобщей истории затем, чтобы была хотя одна страница несколько солидного содержания в нашей статье, наполненной обыденными дрязгами. Но мы вперед соглашаемся, что сделали эту вставку совершенно некстати и что она не имеет ровно ничего общего с рассказами г. Успенского, главным предметом которых служат совершенно вздорные вещи, вроде следующего отрывка из рассказа «Ночь под светлый день».

Часов восемь вечера, сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просятя ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.

— Наше почтение Савелью Игнатьевичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.

— Многолетнего здравия, Петр Акимович, Лукерья Филипповна!.. Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрене жалуете?

— Да-с; и мы...

— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина — праздник обширный... смешно будет не итти.

— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?

— Право-слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...

— Как можно!..

— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали...

Кто-то ведет в темноте даму.

— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйте. Сюда. Лужицу-то пересигните...

— Куда это?

— Прямо! Валяйте!

— Сигать?

— Сигайте...

— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..

— Что, втесались?

— Втесалась.

— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.

— Я? вот...

— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?

— Он, маменька, ничёго...

— Кто?

— Лакей... барский. Он только говорит: христос воскрес!

— А ты!

— А я говорю, воистину...

— Ну и дура за это... вот тебе и сказ!

— Здравствуйте, Наум Федотыч. Куда это вы так торопитесь?

— Здравствуйте, сударыня.

— Как поживаете?

— Да что, матушка, забыл дома яйца.

В дьячковском доме при свете ночников хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишка, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.

— Рано, голубчик, — говорит дьячиха. — Ни свет, ни заря... бог ушко отрежет.

Мальчик кладет в рот палец.

Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «тебе на водах», дочь заплетает косу.

Или вот вроде следующих страниц из рассказа «Гулянье», которым мы уже попользовались в рассуждении вопроса, у «всех ли людей внутри одинаково».

Между толпами народа видно и конторщика, идущего бодро и важно с выпущенными из-под жилетки длинными концами шейного платка. Он по-минуту охорашивается и, видимо, хочет отделаться от пьяницы садовника, который бредет за ним в двух шагах, стараясь о чем-то заговорить с ним. Конторщик спешит присоединиться к дворовым девкам.

— А что, сударыни, — раздается мягкий голос лакея в куче дворовых девок: — вы песни петь сегодня будете?

— С чего вы взяли? Вот выдумали! хи-хи-хи.

— Нисколько я не выдумал. Естество свое возьмет навсегда.

— Ведь какие горделивые! — восклицает другой лакей, идя позади девок.

— Семен Петрович, — слышится унылый голос садовника: — а я раков твоих попытаю.

— Я тебе сказал: отстань, отвяжись. Чорт тебя возьми совсем с раками! Ты меня осрамил.

— О-ох!..

По мере удаления лакеев голоса их становятся слабее.

— Харлам Гаврилыч, Харлаша, — кричит один из мужиков, обнявшись с своим товарищем. — Я тебе расскажу про все. Она баба расейская. А насчет наук ты не хвались. Теперича, что поляк, что лихляндец, что швед — все едино: к примеру, вот мы с тобой идем, все ничего. Вдруг навстречу город али деревня.

— Нет, ты сам не знаешь, что говоришь. Верно, мало слышал про Лихляндию. Пономарев Сенька — лихач на эвти штуки. Скажет: стой, солнце, не шевелись, земля, хоть примерно Россия аль Лихляндия.

— Так.

Мужики удаляются.

Проходят два мещанина. Один из них говорит другому:

— То есть я, батюшка мой, простудил себя, одно слово, квасом. Квасом простудил, так простудил, — смерть. Ребята взяли наварили кулешу с ветчиной да еще на дорогу мне положили поросенка, значит, все свиное. Я и поел, сударь мой, так поел, хоть околевай, так то ж.

— Гм... И накушались?

— И натрескался, Петр Афанасьевич.

Выступают две бабы. Они говорят о своих знакомых и родных. Одна другую уверяет, на минуту приостановившись:

— О! она тебя помнит... как не помнить... и-и-и... А уж кум-то, кум-то! Бог его знает, что за человек такой... Ей-богу... умный. А сноха-то давеча — тресть его по голове! и-их! право слово.

Или вот следующие страницы из рассказа «На пути».

У крыльца волостного правления вокруг запыленного тарантаса стояли мужики и бабы. Они держали в руках податные книжки, подлежащие рассмотрению приехавшего с ревизией чиновника особых поручений. От нечего делать шел разговор:

— Что, война будет?

— Нет, не будет, — говорил солдат, прислонясь к стене и покуривая трубку.

— Отчего же?

— Да с кем воевать-то? Разве с черкесом? Но уж Шмеля забрали...

— А с китайцем? — спрашивал мужик.

— Китаец не пойдет... робок...

— Ну, с англичанином...

— Этот слаб, не плошь итальянца...

— А француз?

— Француз не согласится, потому наши у него дитё кстиди...

Мужик замолчал, придумывая, на кого бы еще указать?

Солдат плюнул и добавил:

— Нет, войны не будет...

В волостном правлении за столом сидел чиновник. Пред ним стояло одетое в форменное платье сельское начальство: голова, старшина, писарь, староста, десятский, сотский, тысячный, выборный, полицейские, добросовестный и смотритель магазина.

Правление разделялось на две комнаты: в одной стояли два шкапа, называвшиеся архивами; в другой — стол, покрытый сукном, за которым сидел чиновник; окованный железом сундук с общественною суммою; станок для измерения рекрутов; стеклянная ваза с золотой надписью: «роковая урна». По стенам были развешаны объявления, наставления, табели, реестры, оклады податей и проч.

Чиновник, весь в пыли, взъерошив волосы, держал в руках печатный лист и спрашивал по нем писаря, у которого по лицу текли ручьи пота. Видно было, что ревизия продолжалась давно; все сельское начальство, переступая с ноги на ногу, тяжело дышало и бессознательно глядело на чиновника.

— Не проживают ли в вашем обществе беспаспортные, беглые, дезертиры и жиды? — говорил ревизор.

— Не проживают, — машинально отвечал писарь.

— На основании каких данных и по каждому ли селению записаны поборы и урожай?

— По каждому.

— На основании каких данных?

Писарь молчал.

Чиновник отдулся, вытер платком лицо и попросил голову объяснить писарю слово «данных». Голова раз пять кашлянула и занес такую околесицу, что чиновник приказал ему замолчать.

— Имеются ли выписки из люстрационных инвентарей или сокращенные люстрационные инвентари и копии с планов с геометрическими инвентарями имений, входящих в состав общества; в исправности ли они, и отмечаются ли в инвентарях последовавшие перемены?

— Все в порядке, — промолвил писарь.

— Отправляются ли в уездный суд дела о проступках, если по свойству проступка востребует взыскание более трех рублей, или более семидневного срока, или более предоставленного сельским судебным уставом расправе наказания розгами шестьюдесятью ударами?

— Все исполняется, — сказал писарь.

— Вы поняли, что я спрашиваю? — обратился ревизор к начальникам, которые вдруг как будто проснулись и начали оправлять свои волосы.

— Поняли... — вполголоса отвечал писарь.

— Не разбирает ли расправа тяжб поселян об имуществе, на которое право основано на крепостных и других актах, или когда спорное имущество стоимостью более пятнадцати рублей, а спорящие не согласятся тяжбу свою кончить примирением, а также если подлежащие суду живут в других местах и городах или происходят от других сословий, и отправляются ли расправую поступившие к ней дела подобного рода в уездный суд?

Писарь молчал.

— Ты понял, что я говорю?

Писарь блуждал глазами по комнате, наконец, сказал:

— Поняли...

Чиновник перевел дух и спросил лошадей. Сельское начальство бросилось вон из правления. Чиновник набил себе трубку и стал перелистывать дела, говоря: «вот тут и твори волю пославшего...» Вскоре он стоял на крыльце и пересматривал податные книжки. Наконец он спрашивал мужиков:

— Довольны ли вы своим начальством?

— Довольны, — сказал один голос.

— Да вы, ребята, скорей отвечайте: мне еще ревизовать десять волостных правлений. Ходите ли в церковь?

— Ходим.

— Любите ли друг друга?

— Любим.

— Прививаете ли оспу детям?

Сделавши еще несколько вопросов, чиновник заключил:

— Вообще, миряне, если вы чем недовольны, скажите; я жалоб не разбираю, но могу донести палате...

Народ молчал.

Чиновник сел в тарантас и отправился.

Сельское начальство и мужики с бабами пошли домой.

Зачем привели мы эти выписки, совершенно не идущие к делу? Просто потому, что увидели, что статья подходит к концу, а выписок из разбираемой книги сделано еще мало. Вот мы и отметили несколько страниц из нее. Нужды нет, что они не имеют связи ни с предыдущим, ни с последующим, — пусть себе стоят, куда случилось им попасть. Сделав этот дивертисмент, займемся прежним рассуждением.

Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении. Это все равно, что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение). Ездит, ездит лошадь смиренно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смиренной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-

таки без нескольких таких выходов не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломленные оглобли и усталость самой лошади.

Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы имеем в виду, укажем достославный пример из отечественной истории, именно незабвенный 1812 год, когда были такие удивительные морозы.

Мы читаем у нелюбимого г. Устрялова и правдивого покойного Михайловского-Данилевского⁷, что в этом году весь русский народ одушевился необыкновенным патриотическим энтузиазмом. Мудрыми руководителями, по свидетельству тех же историков, было дано этому энтузиазму самое приятное и прекрасное удовлетворение: были сделаны наборы в солдаты и в милицию, так что каждый горевший охотою защищать отечество, находил себе готовое место в стройных рядах войска. Благодаря этому Россия достигла великих военных успехов, русские вошли в Париж или, по поэтическому перечню нашего барда Жуковского, произошли следующие события:

Бой московский, взрыв кремлевский
И в Париже русский штык⁸.

От этого Россия возвысилась до такого грозного могущества, о котором никто не мог и мечтать прежде. Вот пример великих прекрасных результатов, совершаемых народным одушевлением при надлежащем его направлении. Представим же себе противоположный случай: вообразим, что в 1812 году русский народ был действительно проникнут воинственным энтузиазмом, как утверждают наши почтенные вышеупомянутые историки, но что войны не произошло, и надлежащего выхода энтузиазму не нашлось, что едва Наполеон перешел Неман, как ему предложили мир на каких ему было угодно условиях. Что было бы в этом случае? Поднялся бы ропот и произошли бы взаимные неприятности между самими русскими, потому что возбужденное чувство, не имея возможности устремиться к правильной цели, выразилось бы горячими действиями для достижения целей неправильных.

Читатель замечает, что мы рассуждаем по прежнему нашему правилу в гипотетическом духе. Мы не утверждаем, что было одушевление; мы только говорим, каков должен был оказываться результат его в том или другом случае, если оно действительно

было; но опять-таки читатель не заключит из этого, что мы отрицаем существование в ту эпоху того одушевления, по предположению которого рассуждали. Мы не историки, мы сами не можем решить этого, но как нам не верить свидетельству таких историков, как г. Устрялов и г. Михайловский-Данилевский?

Пусть другие, более нас ученые люди оценивают по достоинству их заслуги исторической истине; мы же выразим здесь нашу признательность им за то, что их красноречивые труды указали нам в жизни русского народа эпоху одушевления*.

Следовательно, невозможного ничего нет, или, по выражению старинного поэта:

Ничто не ново под луною:
Что было, есть и будет впрямь.

Если же будущее есть только повторение прошедшего, то прошедшие обстоятельства могут повторяться в будущем. Мы хотим сказать, что если полчища дванадцати язык, влекомые кичливыми галлами, снова устремятся на Москву, то явится через несколько лет после того новый г. Ф. Глинка, который воспоет:

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная,
И река в тебе кипела
Бурнопламенная.

Но едва ли мы не слишком уже заговорились, одушевившись поэтическими воспоминаниями, и едва ли не облеклась в слишком поэтическую ахинею та прозаическая мысль, которую начали было мы развивать и которая состояла лишь в том, что минуты одушевления возможны в жизни массы, обыкновенно занятой самыми мелкими и пошлыми обыденными дрязгами, как возможны они в жизни самого дюжинного человека. Нужды нет, что вы видите вокруг себя только пошлость и мелочность, апатию и трусость, нужды нет, что только это видите вы ныне: день на день не приходится. Однакоже мы напичкали в середине своей статьи столько разной поэзии, что с трудом вспомнит теперь читатель, о чем говорилось в начале статьи. Будем припоминать по порядку.

Однакоже не лучше ли будет нам остановиться на этом и для заключения статьи припомнить кое-какие из мыслей, внушенные нам книгою г. Успенского. Мы заметили радикальную разницу между характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпели-

* Чернышевский в другом месте так говорит о значении войны 1812 года: «война 1812 года была спасительна для русского народа» (см. т. III нашего издания, стр. 208, подстроч. Примеч.) — *Ред.*

выми и энергическими, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе. Нам вспоминается анекдот, слышанный от одного из даровитейших наших беллетристов, знаменитого мастерством рассказывать анекдоты. Мы надеемся, он не посетует на нас за то, что мы воспользуемся этою его разговорною собственностью. Анекдот начинается с того, что в будуар жены входит муж, человек, занимающий очень почетное положение в обществе и знаменитый своею любовью к народу, — любовью, которую умел он перелить и в нежное сердце своей прекрасной супруги. Он застаёт пышную красавицу в горьких слезах над развернутою книжкою русского журнала. «Душенька, о чем ты так расплакалась?» — «А, боже мой...» — голос жены прерывается от рыданий. «Душенька, да что же такое, скажи ради бога?» — «Боже мой! какие несчастные...» и опять голос прерывается от рыданий. «Ангел, мой! успокойся... что такое?» — «Несчастные мужики, ах какие несчастные! Здесь написано, что они не пьют кофе!..» Нам представляется, что сострадательная дама читала одну из тех прекрасных повестей, в которых так интересно изображался простонародный быт.

Книгу г. Успенского наверное отбросила бы она с негодованием на автора, рассказывающего о наших мужичках такие грязные пошлости. Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрядным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрядного.

[Заканчивая этим отзывом разбор книги г. Успенского, мы предадимся теперь отвлеченным психологическим размышлениям, которые, конечно, будут иметь очень мало связи с рассказами г. Успенского, а с жизнью русского народа не будут уже иметь никакой связи.

Если мы будем наблюдать причины перемен, происходящих в образе мыслей и поступков у дюжинных людей, лишенных вну-

тренней инициативы, мы найдем, что эти причины подводятся под два главные разряда.

К первому разряду относятся бессознательные и, можно сказать, бесцельные побуждения, проистекающие из ограниченности человеческого терпения, которое, подобно всем другим свойствам человеческой природы, никак не может считаться бесконечным. Замечательнейший психологический факт этого рода представляют машинальные действия человека, погруженного в глубокий сон. С каждым из нас часто бывает, что, заснув на правом боку, он просыпается лежащим уже на левом боку, или наоборот. Какие причины заставили его повернуться с одного бока на другой, он не знает; не знал и того, что повертывается, когда повертывался, и заметил это уже гораздо позднее, когда проснулся. А между тем он все-таки повернулся. Отчего это сделалось с ним? Конечно, оттого, что стало ему, наконец, неудобно лежать на прежнем боку, и развилась в нем потребность изменить свое положение. Мы уже замечали, что сознательным образом он не чувствовал появления этой потребности; а нечего уже и говорить о том, что он не обнаруживал ее никакими словами, он спал крепко и молчал. Но все-таки эта бессознательность и молчаливость не помешала совершиться факту. Можно наблюдать очень много подобных действий, совершаемых во время глубокого сна. Например, спящий сгоняет с лица муху, все равно как согнал бы ее бодрствующий. Разумеется, разница между действиями сонного и бодрствующего всегда бывает и притом очень большая. Во-первых, сонный человек далеко не так скоро шевелит рукою для прогнания мухи, как бодрствующий: этот последний обмахивается от мухи, лишь только она сядет ему на нос или на лоб, а у сонного она разгуливает по лицу довольно долго, прежде чем совершит он машинальное движение, чтобы согнать ее. Во-вторых, это машинальное действие вообще не имеет той верности и успешности, какая бывает в движениях бодрствующего: рука сонного человека иногда опускается, не поднявшись до тревожимого мухою места, иногда направляется не совсем на то место, где сидит муха. От этой разности происходит и третья разница: муха, прогнанная бодрствующими, обыкновенно бывает так напугана верностью и быстротой его движений, что улетает вовсе прочь; а муха, вяло прогнанная сонным, в одну секунду замечает, что снова может опуститься на него, и в самом деле опять садится на место, с которого только что слетела. — Вообще, психологические наблюдения над сном представляют большой научный интерес, и общий вывод из них тот, что в сонном человеке происходят все те явления, как и в бодрствующем, только происходят они несколько медленнее и слабее.

Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно так же имеют большой психологический интерес факты, наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою,

а не от внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив, когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком резкими впечатлениями, он вприсонках обнаруживает тревожную и очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв и мускулов довольно скоро успокаивается, так что не стоит обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что психология находит довольно опасною вещь неосторожное обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми в свидетельство того, что могут происходить действия решительно без всякого предшествующего сознания надобности этих действий, даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого клонится действие. Наука находит очень много свидетельствующих о том фактов и во всяких других проявлениях жизни. Возьмем в пример немецкий обычай кушать бутерброды. Почтенные немцы, придумавшие эту вкусную вещь, решительно не знают, почему надобно им кушать хлеб со сливочным маслом, — они дошли до этой выдумки совершенно машинально. Но в недавнее время наука открыла, что хлеб сам по себе переваривается желудком не очень легко, а сливочное масло даже очень трудно; когда же два эти питательные вещества смешиваются, то вместе перевариваются они желудком гораздо [легче (? — *Ред.*)], чем каждое из них в отдельности. Таким образом, сознательная причина для делания бутербродов открыта очень недавно, а немцы кушают бутерброды с незапамятных времен, и до недавнего времени почти никто из них не умел, да и теперь еще почти никто не умеет отдать себе отчет в том, почему ему понравилось кушать бутерброды; но это, повторяем, никому из них не мешало и не мешает любить бутерброды.

Мы приводили примеры мелочные; но для науки мелочные факты приобретают иногда очень важное значение, служа ключом к разъяснению важных явлений исторической жизни. Так, например, Бокль сделал замечательную попытку разъяснить характер индийских учреждений и истории качествами риса, служащего обыкновенною пищею индусов⁹. Почему же нам не заниматься размышлениями о бутербродах и мухах, и назовет ли читатель опрометчивым самохвальством, если мы скажем, что из этих наблюдений извлекаются два вывода, важные для исторической психологии:

Во-первых, летаргическое состояние умственной жизни не мешает физическим действиям для удовлетворения физиологических нужд; во-вторых, можно получить наклонность к предмету, не имея отчетливого сознания о нем.

На основании этих выводов мы скажем, что, если, например, масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это еще не дает нам права отрицать в них способность проникнуться на-

клонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния.

Читатель понимает, о каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как доказывают почти все приверженцы народных школ, — люди, пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно, шли мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды, что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался он безграмотен; самая продолжительность безграмотного состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо устремится вознаградить потерянное время.

Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения служит причиною перемен в жизни дюжинных людей. Если не ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей, лишенных инициативы, встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно, потому, что он поставил себе целью знакомить нас с господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно преобладала рутина дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось влияние людей, имеющих в себе силу инициативы. Но нельзя сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбатых и, с другой стороны, не было бы людей, очень стройных, очень красивых и очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно ни для кого, имевшего случай знакомиться с простолюдинами. Кто сближался с ними, наверное встречал между ними людей, поражавших его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же не имели они до сих пор влияния на жизнь массы, и способна ли она подчиниться ему? Почему не имели, на

это можно отвечать знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон и т. д.¹⁰.

В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий играть на бильярде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает почему: каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о людях, способных к инициативе, для которой непременно нужно, кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля». Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не знаем; он, кажется, нянчит ребенка, болтает с женой, охотится за сернами, — словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии. Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека, который через минуту, погиб бы, если бы не увез его Телль.

Но к чему возвышенное сравнение? Лучше взять пример из нашей обыденной жизни. Пока не предвидится вакансии, нет и кандидатов на должность. Но не было еще примера, чтобы порядочная должность оставалась не занятою по недостатку кандидата. К этому случаю прилагаются наши поговорки: «Был бы хлеб, а зубы будут» и «свято место не живет пусто».

Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена, требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели, выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху, ни духу. Неужели вы полагаете, что Нельсон был знаменитым адмиралом, когда Англия еще не начинала войн, требовавших адмирала вроде Нельсона¹¹. Руссо успел стать пожилым человеком и не был никому известен, пока не потребовались обстоятельствами сочинения в том роде, в каком способен был

писать Руссо. Неужели запрягают волов в плуг раньше, чем приходит пора пахать?

Тяжела обязанность журналиста. Едва он увлечется какиминибудь приятными ему психологическими изысканиями, едва он придет в такое расположение духа, чтобы служить отвлеченной науке, как вдруг припоминается ему журнальное отношение, надобность угождать желанию писателя, сотрудничеством которого дорожит журнал. Вот и нас останавливает среди многотрудных и полезных исследований мысль: как понравится наша статья г. Успенскому? Она решительно не понравится ему, если станет продолжаться и окончится в том роде, как шла вторая половина ее. Он найдет, что статья о его книге слишком мало занимается его книгою. Нечего делать, надобно угодить г. Успенскому и начать речь собственно о нем и о его книге.]

Особенность таланта г. Успенского состоит в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, о которых можно говорить откровенно все, что замечаешь о них. Он нимало не стесняется в их обществе. Мы уверены, читая его книгу, думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволупые собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый барин, а говорят о нем запросто как о своем брате, что, дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство. Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление. Теперь оно производится нередко. Если вы одеты не бог знает как богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие, которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила решение задачи, которая своєю мнимую трудностью так обескураживает славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе.